

Вступление

Кеннингтон-роуд, до того как построили Вестминстерский мост, была всего лишь дорожкой для верховой езды. Но после 1750 года здесь прошла новая дорога на Брайтон. И тогда вдоль Кеннингтон-роуд, где прошли годы моего детства, выросли красивые дома с балконами, украшенными чугунными решетками. С этих балконов обитатели домов могли некогда созерцать, как Георг IV катил в карете в Брайтон.

К середине девятнадцатого столетия большинство этих особняков, потеряв былое величие, превратились в доходные дома. Лишь некоторые из них остались особняками, но теперь в них селились доктора, преуспевающие купцы и «звезды» варьете. В воскресное утро на Кеннингтон-роуд всегда можно было видеть у какого-нибудь подъезда щегольскую коляску: любимец публики ехал кататься и, возвращаясь по Кеннингтон-роуд из Норвуда или Мертона, непременно останавливался возле питейного заведения — у «Белой лошади», «Рога» или «Пивной кружки».

Двенадцатилетним мальчишкой я часто стоял у входа в «Пивную кружку» и смотрел, как эти прославленные господа, покидая свои экипажи, шествовали в бар, где встречалось избранное актерское общество, чтобы по обычай пропустить здесь «последнюю», перед тем как вернуться домой к полдневной трапезе. До чего же они

были шикарны в своих клетчатых костюмах и серых котелках, как сверкали их бриллиантовые кольца и булавки в галстуках! По воскресеньям «Пивная кружка» закрывалась в два часа дня. Посетители ее высыпали на улицу, но расходились не сразу, и я глазел на них, как зачарованный. Это было очень интересно и забавно — некоторые держались с такой комической важностью.

Но когда последний из них уходил, — словно солнце пряталось в тучи. Я сворачивал за угол и возвращался туда, где в глубине квартала поднимались старые, унылые фасады, и взбирался по шатким ступенькам лестницы дома № 3 на Поунэлл-террас, которая вела на наш чердак. Вид этого дома наводил уныние, в нос ударяла вонь помоев и старой одежды.

Мать сидела у окна и смотрела на улицу. Услышав, что я вошел, она взглянула на меня и слабо улыбнулась. В комнатке, чуть больше десяти квадратных метров, было душно, и на этот раз она мне показалась еще меньше, а наклонный потолок мансарды еще ниже, чем обычно. Стоп у стены был завален грязной посудой, в углу, прижатая к той стене, что пониже, стояла старая железная кровать, которую мать когда-то выкрасила белой краской. Между кроватью и окном находился маленький очаг, а в ногах кровати стояло старое раскладное кресло, на котором спал мой брат Сидней. Но сейчас Сидней был в море.

В это воскресенье вид нашей комнаты угнетал меня больше, чем всегда, — мать почему-то ее не прибрала. Обычно она держала ее в чистоте. Матери тогда еще не исполнилось тридцати семи лет, она была живой, веселой женщиной, и в ее руках наша убогая мансарда выглядела даже уютно. Особенно хорошо бывало в те воскресные зимние утра, когда она подавала мне завтрак в постель; я просыпался и видел заботливо прибранную комнатку, веселый огонек в очаге, над которым кипел чайник и подогревалась рыба,

пока мать готовила гренки. Мамина бодрость, уют комнаты, приглушенное бульканье кипятка, льющегося в фаянсовый чайничек, пока я читал юмористический журнал, — такими были мои безмятежные воскресные радости.

Но в это воскресенье мать сидела у окна, безучастно глядя на улицу. Последние три дня она все время так и сидела у окна, странно притихшая и чем-то удрученная. Я знал, что она очень тревожится. Сидней ушел в плаванье, и мы не имели от него вестей больше двух месяцев. Купленную матерью в рассрочку швейную машинку, с помощью которой она пыталась прокормить нас, отобрали за неуплату очередного взноса (что, кстати сказать, было уже не впервые). А тут еще и мой жалкий вклад в хозяйство — те пять шиллингов в неделю, которые я зарабатывал уроками танцев, — перестал поступать, так как неожиданно для меня уроки прекратились.

Едва ли я сознавал, в какое трудное положение мы попали, — нам ведь все время было трудно. С обычным мальчишеским легкомыслием я умел быстро забывать неприятности. Как всегда, после школы я сразу бежал к матери, выполнял ее поручения, выносил помои, приносил ведро воды, а потом бежал в гости к Маккарти и весь вечер проводил у них — только бы удрать подальше от нашего унылого чердака.

Маккарти были старыми друзьями матери, еще с тех времен, когда она выступала в варьете. Они занимали просторную квартиру в лучшей части Кеннингтон-роуд и, по сравнению с нами, жили в достатке. У них был сын Уолли, с которым мы обычно играли дотемна, и тут меня неизменно приглашали к чаю. Я всегда старался задержаться, и так подкармливавшийся. Иногда миссис Маккарти спрашивала, почему так давно не видно мамы. Я придумывал какую-нибудь отговорку — в действительности же с тех пор

как мы впали в бедность, матери не хотелось встречаться со своими друзьями по театру.

Разумеется, бывали дни, когда я оставался дома, и мать заваривала чай, поджаривала на сале хлеб, который я с удовольствием поглощал, а потом читала мне вслух — читала она изумительно хорошо. И тогда я понимал, какую радость может доставлять ее общество и насколько приятней оставаться дома, чем ходить в гости к Маккарти.

Но сейчас, когда я вошел в комнату, она обернулась и с упреком поглядела на меня. Я был потрясен ее видом. Она показалась мне такой худенькой, изможденной, в глазах ее было страдание. У меня сжалось сердце: я разрывался между необходимостью остаться дома, чтобы она не чувствовала себя одинокой, и страстным желанием удрать, не видеть этого горя. Она равнодушно посмотрела на меня и спросила:

— Почему ты не идешь к Маккарти?

А у меня уже слезы подступали к глазам.

— Потому что хочу побывать с тобой.

Она отвернулась и рассеянно посмотрела в окно.

— Беги к Маккарти и постарайся там пообедать. Дома нет ничего.

Я почувствовал в ее тоне упрек, но уже не хотел думать об этом.

— Если ты настаиваешь, я пойду, — сказал я нерешительно.

Она грустно улыбнулась и погладила меня по голове.

— Да, да, беги скорей!

И хотя я умолял ее позволить мне остаться, она настояла на своем. И я ушел, чувствуя себя виноватым: я оставил ее одну на нашем жалком чердаке, не подозревая, что спустя всего лишь несколько дней ее постигнет ужасное несчастье.

I

Я родился 16 апреля 1889 года, в восемь часов вечера, на улице Ист-лайн, в районе Ульвертона. Вскоре после моего рождения мы переехали на Уэст-сквер, по Сент-Джордж-роуд, в Лэмбетте. Тогда мы еще не были бедны и жили в квартире из трех со вкусом обставленных комнат. Одно из моих самых ранних воспоминаний — перед уходом в театр мать любовно укладывает Сиднея и меня в мягкие кроватки и, подоткнув одеяла, оставляет на попечении служанки. В мои три с половиной года мне все казалось возможным. Если Сидней, который был на четыре года старше меня, умел показывать фокусы, мог проглотить монетку, а потом вытащить ее откуда-то из затылка, значит, и я мог сделать то же самое и не хуже. В доказательство я проглотил полпинни, и матери пришлось вызывать доктора.

Каждый вечер, вернувшись домой из театра, мать оставляла для нас с Сиднеем на столе какие-нибудь лакомства. Проснувшись поутру, мы находили ломтик неаполитанского торта или конфеты — это служило напоминанием, что мы не должны шуметь, потому что маме надо высаться.

Мать выступала в ролях субреток в театре варьете. Ей было тогда лет под тридцать, но она казалась еще совсем юной. У нее был прекрасный цвет лица, фиалково-голубые глаза и светло-каштановые волосы, падавшие ниже пояса, когда она их распускала. Мы с Сиднеем очень любили мать, и хотя, строго говоря, ее нельзя было назвать красавицей, нам казалось, что она божественно хороша. Те, кто знал ее, рассказывали мне потом, уже много лет спустя, что она была очень изящна, привлекательна и полна обаяния. Она любила наряжать нас и водить по воскресеньям на прогулки — Сиднея в длинных брюках и в итонской курточке с большим белым отложным воротником, меня — в синем

бархатном костюмчике и перчатках в тон. Мы чинно прогуливались по Кеннингтон-роуд, и нас распирали гордость и самодовольство.

В те дни Лондон был нетороплив. Нетороплив был темп жизни, и даже лошади, тянувшие конку вдоль Вестминстербридж-роуд, шли неторопливой рысцой и степенно поворачивали на конечной остановке возле моста. Одно время, пока мать еще хорошо зарабатывала, мы жили на Вестминстербридж-роуд. Соблазнительные витрины магазинов, рестораны и мюзик-холлы придавали этой улице веселый и приветливый вид. Фруктовая лавочка на углу, как раз напротив моста, пленяла глаз богатством своей цветовой палитры — аккуратно сложенные пирамиды апельсинов, яблок, персиков и бананов великолепно контрастировали со строгостью серого парламента на том берегу реки.

Таким был Лондон моего детства, моих первых впечатлений и воспоминаний. Я вспоминаю Лэмбет весной, вспоминаю какие-то мелкие, незначительные эпизоды: вот я еду с матерью на империале конки и пытаюсь дотянуться рукой до веток цветущей сирени; яркие билеты — оранжевые, голубые, красные и зеленые — покрывают, словно мозаикой, всю мостовую там, где останавливаются конка или омнибусы; на углу Вестминстерского моста румяные цветочницы подбирают пестрые бутоныерки, ловкими пальчиками заворачивая каждую вместе с дрожащим листом папоротника в блестящую фольгу; влажный аромат только что политых роз пробуждает во мне неясную грусть; в унылые воскресенья бледные родители прогуливают детишек по Вестминстерскому мосту — в руках у детей ветряные мельницы и разноцветные воздушные шары; пузатые пароходики, плавно опуская трубы, проходят под мостом. В восприятии этих мелочей рождалась моя душа.

Помню я и предметы в нашей гостиной, которые почему-то произвели на меня неизгладимое впечатление:

портрет Нелл Гвин¹ во весь рост, нарисованный моей матерью, — я его терпеть не мог; графины с длинным горлышком на буфете, которые наводили на меня страх, и маленькую круглую музыкальную шкатулку с эмалевой крышкой, где были изображены ангелы, витающие в облаках, — она мне и нравилась и казалась таинственной. А вот свой детский стульчик, купленный у цыган за шесть пенсов, я любил — он создавал у меня восхитительное ощущение собственности.

Еще незабываемые события того периода моей жизни: посещение королевского Аквариума², где мы с матерью смотрели представления, например «Она»³, или разглядывали голову живой дамы, охваченной языками пламени, которая, однако, продолжала улыбаться, а потом, купив за шесть пенсов лотерейный билет, пытали счастье: мать поднимала меня повыше, и я из большой бочки с опилками вытаскивал пакетик с сюрпризом — в нем оказывалась леденцовая свистулька, которая не свистела, и рубиновая брошь-стекляшка. Вспоминается также поездка в Кентерберийский мюзик-холл, где я восседал в красном плюшевом кресле и смотрел, как выступает мой отец...

А вот поздно ночью, укутанный дорожным пледом, я еду в карете, запряженной четверкой, с матерью и ее друзьями-артистами, и мне приятны их веселость и смех, когда наш трубач дерзкими звуками рожка возвещает наш проезд по Кеннингтон-роуд под дробный цокот копыт и звон упряжки.

1 Гвин Нелл (Элеонора) — английская актриса, фаворитка короля Карла II (XVII в.).

2 Большой зал, где давались представления и показывались различные аттракционы. Помещался он в здании на углу Виктория-стрит, на против Вестминстерского аббатства.

3 «Она» — инсценировка популярного в конце XIX в. романа английского писателя Райдера Хаггарда.

А потом что-то произошло. Может быть, через месяц, а может, и через несколько дней, — я вдруг понял, что с матерью и в окружающем меня мире происходит что-то неладное. Мать на все утро куда-то ушла со своей приятельницей и вернулась очень расстроенная. Я чем-то забавлялся, сидя на полу, и воспринимал всю сцену словно из глубины колодца, — я слышал страстные восклицания матери и ее рыдания. Она то и дело поминала какого-то Армстронга: Армстронг сказал то, Армстронг сказал это, Армстронг — подлец и негодяй! Ее волнение было таким непонятным и сильным, что я заплакал, да так горько, что матери пришлось взять меня на руки. И только через несколько лет я узнал, что произошло в тот день. Мать вернулась из суда, где рассматривался ее иск моему отцу, не дававшему ей денег на содержание детей. Решение было вынесено не в ее пользу, а Армстронг был адвокатом отца.

Я тогда едва ли подозревал о существовании отца и не помню того времени, когда он жил с нами. Отец, тихий, задумчивый человек с темными глазами, тоже был актером варьете. Мать говорила, что он был похож на Наполеона. Он обладал приятным баритоном и считался хорошим актером. Отец зарабатывал сорок фунтов в неделю, что по тем временам было очень много. Все горе было в том, что он сильно пил; мать говорила, что поэтому они и разошлись.

Но в те времена актеру варьете трудно было не пить — во всех театрах продавали спиртное, и после выступления исполнителю даже полагалось зайти в буфет и выпить в компании зрителей. Некоторые театры выручали больше денег в буфетах, чем в кассах, и кое-кому из «звезд» платили большое жалованье не столько за их талант, сколько за то, что большую часть этого жалованья они тратили в театральном буфете. Так многих актеров погубило пьянство, и одним из них был мой отец. Тридцати семи лет он умер от злоупотребления алкоголем.

С грустным юмором мать рассказывала о нем всякие истории. Пьяным он вел себя буйно, и после одного из дебошей отца она сбежала со своими друзьями в Брайтон. Он послал ей вслед отчаянную телеграмму: «Что у тебя на уме? Отвечай немедленно!» И она в тон ему телеграфировала: «Балы, вечера и пикники, любимый!»

Мать была старшей из двух дочерей. Мой дед, Чарльз Хилл, ирландец из графства Корк, был сапожником. У него были румяные, словно яблочко, щеки, копна седых волос и борода, как у Карлейля на портрете Уистлера. Его скрючило ревматизмом, потому что, по его словам, ему приходилось спать на сырой земле, когда во время восстания он прятался от полиции. В конце концов он поселился в Лондоне и открыл сапожную мастерскую на Ист-лэйн.

Бабушка была наполовину цыганкой — это была наша страшная семейная тайна. Но это не мешало бабушке хвастаться тем, что ее семья всегда арендовала землю. Ее девичья фамилия была Смит. Я помню ее веселой струпшкой — она осыпала меня ласками и, разговаривая со мной, всегда сюсюкала. Бабушка умерла, когда мне еще не исполнилось шести лет. Она разошлась с дедушкой, но по какой причине ни он, ни она не рассказывали. По словам тетушки Кэт, тут был свой роковой треугольник — дед застал бабушку с любовником.

Судить о морали нашей семьи по общепринятым нормам было бы так же неостроумно, как совать термометр в кипяток. При такой наследственности, обе хорошеные дочери сапожника быстро расстались с отчим домом и устремились на сцену.

Тетя Кэт, младшая сестра мамы, тоже была субреткой. Но мы мало знали о ней, она лишь изредка появлялась на нашем горизонте, чтобы тут же внезапно исчезнуть. Она была хороша собой, не слишком уравновешенна и не ладила с матерью. Ее редкие визиты обычно кончались тем,

что она отпускала какую-нибудь колкость моей матери и, хлопнув дверью, удалялась.

На восемнадцатом году мать сбежала в Африку с пожилым поклонником. Она любила рассказывать о своей роскошной жизни среди плантаций, слуг и верховых лошадей.

Там и родился мой брат Сидней, когда матери едва исполнилось восемнадцать лет. Она рассказывала мне, что Сидней — сын лорда и что, достигнув совершеннолетия, он унаследует состояние в две тысячи фунтов. Это меня и радовало и огорчало.

Мать недолго оставалась в Африке, она вернулась в Англию и вышла замуж за моего отца. Я не имел представления, чем закончилась ее африканская эпопея, но при нашей крайней бедности я иногда упрекал ее за то, что она отказалась от такой замечательной жизни. В ответ она, бывало, смеясь говорила, что была еще слишком молода и не могла проявить столь разумную предусмотрительность.

Сильно ли она любила моего отца, я не знаю, но говорила она о нем без горечи. Мне кажется, она была слишком беспристрастна для глубоко любящей женщины. Иногда она отзывалась о нем с симпатией, а в другой раз рассказывала всякие ужасы о его пьянстве и буйном нраве. В позднейшие годы, когда мать сердилась на меня, она печально говорила: «Ты кончишь жизнь в сточной канаве, как твой отец!»

Она была знакома с отцом еще до того, как уехала в Африку. Они вместе играли в ирландской мелодраме «Шэмас О'Брайен» и были влюблены друг в друга. Она играла героиню, хотя ей было только шестнадцать. Поехав с труппой в турне, она встретилась с пожилым лордом и сбежала с ним в Африку. Когда она вернулась в Англию, ее роман с моим отцом возобновился, и она вышла за него замуж. Через три года родился я.